

Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
<i>Глава первая.</i> Блудный сын	11
<i>Глава вторая.</i> Темная девка	24
<i>Глава третья.</i> Начало жизни	45
<i>Глава четвертая.</i> Материнство	62
<i>Глава пятая.</i> День забот. Дела строительные	86
<i>Глава шестая.</i> Облигация государственного займа	106
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	126
<i>Глава седьмая.</i> Юлькин май	133
<i>Глава восьмая.</i> День забот. Дела моральные	149
<i>Глава девятая.</i> Из дневника Сережи Борташевича	162
<i>Глава десятая.</i> Знакомства	181
<i>Глава одиннадцатая.</i> Пожар	198
<i>Глава двенадцатая.</i> Я люблю, ты любишь, он любит	216
<i>Глава тринадцатая.</i> Жизнь коротка	237
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	266
<i>Глава четырнадцатая,</i> посвященная главным образом вопросам брака	273
<i>Глава пятнадцатая,</i> посвященная неприятностям разного рода	284
<i>Глава шестнадцатая.</i> Дальнейшие происшествия	308
<i>Глава семнадцатая.</i> Как будем жить дальше?	326

Часть первая

С Новым годом!

Пройдет сорок минут, и на Спасской башне заснеженного Кремля, в Москве, часы отобьют полночь. В миллионах радиоприемников и репродукторов повторится бой кремлевских часов, его услышат во всем мире.

Упадет двенадцатый удар, люди сдвинут свои чарки и скажут: «С новым счастьем!»

Милый сердцу обычай — встреча Нового года. Население города Энска готовилось к этой встрече целый месяц. Громадный был спрос на елочные украшения: блестящие шарики, целлофановые хлопушки, картонажи, куколки, золотой «дождь», золотые орехи, разноцветные свечи, «елочный блеск», похожий видом на нафталин и продающийся в запечатанных пакетиках, как глауберова соль. Одних только дедов-морозов разных размеров в декабре продано четырнадцать тысяч штук. В том числе совершенно выдающийся дед, дед-экстра, дед-люкс в рост человека, художественно сработанный в двух экземплярах промартелью «Игркомбинат». Купили этого деда, как и следовало ожидать, детские ясли станкостроительного завода: разве директор завода товарищ Акиндинов упустит случай приобрести диковину, какой ни у кого в городе нет?.. Второй экземпляр деда-экстра остался собственностью центрального универмага и стоит в сияющей витрине, в раме из еловых ветвей: могучий, красноносый, в роскошной шубе из ваты, в настоящих валенках, с раззолоченной палицей в руке; и у ног его по зеркальцам-прудам катаются на крошечных салазках мальчики и девочки с красными флаж-

ками... Днем у витрины теснятся ребяташки, любуясь этим художеством. Сейчас ребяташки разошлись, у витрины пусто, взрослые пробегают через яркую полосу света, не обращая на деда внимания: осталось сорок минут!

Алмазной лентой разворачивается над крышами электрический призыв: «Храните деньги в сберегательной кассе!» Нынче призыв не доходит до сознания граждан. С утра сберкассы знай выдавали вкладчикам деньги на мотовство. Двери магазинов открыты настежь: два встречных людских потока не дают им закрыться. «Товарищ! Нельзя ли отпустить побыстрее? Вы же знаете — люди торопятся». Многие в последний час вспомнили, что забыли купить такие-то закуски и такие-то подарки, и кинулись исправлять свой промах.

Повальный азарт приобретения: несут мандарины и яблоки в сетчатых сумках, свертки и бутылки, коробки с тортами и куклами, мячи, кульки конфет. И у кого-то в спешке прорвался кулек, и конфеты рассыпались по тротуару, и неудачник подбирает их, прижимая к груди остальные пакеты.

И кто-то, вспотевший и задыхающийся, бежит из магазина в магазин, ища фаршированный перец, как будто от этого перца зависит его жизнь.

И какой-то чудака в франтовской велюровой шляпе тащит на плече длинную облезлую елку. Эх, когда спохватился: не успеете, гражданин, украсить ваше дерево к двенадцати! Прохожие взглядывают на чудака с иронией, он слышит их шуточки, но деловито шагает дальше со своей колючей ношей, и на его молодом лице, по-девичьи порозовевшем от мороза, выражение гордой независимости.

Да, он поздновато сообразил, что хорошо бы украсить комнату елкой; сообразив, почувствовал, что это необходимо сделать, что без елки его жизнь неполноценна. И, рискуя опоздать к встрече Нового года, пустился на поиски. Он видел множество елок, но только в витринах и окнах домов. Рынки давно закрылись, а на площади, где шла оживленная елочная торговля, не осталось никого и ничего, кроме густой

хвои на утоптанном снегу. Гражданин уже отчаивался, как вдруг видит — на углу против «Гастронома» стоит мальчишка-подросток и держит перед собой елку. Елка уродливая, громадный голый ствол и самая малость зелени, поломанные веточки жалобно обвисают, словом — заваль, но гражданин хватается за нее и держит крепко.

— Сколько? — спрашивает он.

— Двадцать рублей, — отвечает мальчишка.

— Ого! — говорит гражданин. — За что же столько? За красоту?

— А что? — хладнокровно говорит мальчишка. — Хорошая елка. Большая — во.

— Все-таки двадцать — это чересчур.

— Ищите дешевле. Ваше счастье, что такую нашли.

— Счастье, положим, обоюдное, — говорит гражданин, подавая две серенькие бумажки. — Ладно, пользуйся.

Мальчишка берет бумажки с оскорбительным пренебрежением. Он презирает чудака, выбросившего такие деньги черт знает за что... И вот чудака поднимается по лестнице с елкой на плече. Елка пахнет дорогими воспоминаниями детства, а лестница — сырой штукатуркой. Оба запаха одинаково отрадны: дом построен недавно, ордер на комнату чудака получил только на днях. А до этого он жил у приятеля на кушетке и мечтал о собственной комнате...

Чуркин и Ряженцев садятся в машину. Кончилось совещание в горкоме, и заседавшие исчезли все разом, будто по петушиному крику. Чуркин и Ряженцев уезжают последними.

— В Дом техники, — говорит Ряженцев водителю.

В Доме техники будет встреча с передовиками производства. На встречу прилетели гости из Москвы, Ленинграда, Свердловска — представители министерства, знатные рабочие, — энский станкостроительный завод занял первое место во всесоюзном соревновании. По городу расставлены щиты с портретами победителей, в кино показывают хроникальный фильм о заводе.

— Еще годик, — говорит Чуркин.

— Еще ступень, — говорит Ряженцев.

В окнах свет, на занавесках тени елочных лап с подвешенными к ним шарами и звездами, шары качаются на нитках — тени поворачиваются...

— Тьфу ты, морока! — с негодованием говорит водитель.

Машина останавливается. Перед нею медленно опускается шлагбаум. Слышен слабый, несмелый вскрик паровоза.

— Черт! — говорит Чуркин. — И в праздник они тут!

— У них прорыв, — говорит Ряженцев.

Старый маленький паровоз «овечка» проходит за шлагбаумом. Он тащит один вагон — всего и дела. «Овечка» с вагоном скрывается за черным массивом городского парка. Женская фигура в тулупе и платке выходит из будки и истово крутит ворот. Шлагбаум поднимается.

— Анекдот! — ворчит Чуркин. — В центре города!

— Вы — власть, — говорит Ряженцев. — На кого жалуетесь? Ставьте вопрос в Совете Министров, поддержим.

От стародавних времен остался в Энске маленький вагоноремонтный заводик. Энск разрастается и украшается, вокруг Энска вон какие воздвигнуты предприятия, а заводик со своей пустяковой программой и устаревшим оборудованием все стоит на месте. Железнодорожники не соглашаются ни ликвидировать его, ни перенести на другую территорию. По этому поводу длится бесконечная переписка с управлением дороги и с министерством. А на сессиях критикуют Чуркина за то, что недостаточно радеет о благоустройстве. Это он-то радеет недостаточно...

По новенькому шелковому асфальту машина огибает парк и выезжает на площадь, в свет и суету. Красные электрические, голубые неоновые вывески бросаются в глаза. Трамвай, звеня, осторожно пересекает площадь. Трубный голос диктора из невидимого репродуктора сообщает последние известия. Пешеходы уже не идут шагом — бегут, обгоняя друг друга.

— Хорошо, когда у людей праздник! — говорит Чуркин.

— Хорошо! — с удовольствием соглашается Ряженцев.

Свет в домах, тени еловых лап на занавесках. Мелькнул на белом кружеве силуэт детской головки — бантик набок. «Как у нашей Нинки», — думает Чуркин.

Но не все празднуют. Город — живой организм, он функционирует непрерывно.

По-обычному заступила смена на ГЭС.

Как всегда, одиноко стоит на углу девушка-милиционер, управляющая светофором, и только знакомый шофер такси, притормозив на секунду, крикнет ей в окошечко: «С Новым годом!»

В Ленинском районе, где строится Дворец культуры, где над зубчатыми стенами, лесами, штабелями кирпича редкими звездами горят тысячеваттные лампы и чернеет, почти сливаясь с небом, неподвижный башенный кран, — бодрствует сторож в тулупе с поднятым воротником.

«Скорая помощь» доставляет женщину в родильное отделение больницы.

Кто-то приходит в мир на пороге нового года, и кто-то уходит с последними минутами старого. И кто-то плачет над уходящим.

А в кинематографе кассирша с подбритыми бровками и модной прической, лирически грустя, продает билеты на ночной сеанс.

В типографии плавно стучит машина, печатая новую брошюру, и седой наборщик не спеша набирает на лино-типе телеграммы для новогоднего номера газеты.

И там же, в типографии, в верстальном, на двух столах, женщины из фабзавкома стелют скатерти и расставляют тарелки с бутербродами и стаканы для пива, чтобы в полночь наборщики, метранпажи и печатники, оторвавшись от работы, тоже чокнулись и поздравили друг друга.

Близится праздничная минута. Пустеют магазины, трамваи и автобусы. Уже идет по городу совсем пустой трамвай: кроме вагоновожатого и кондукторши, в вагоне всего один человек. Он спит в уголку, уютно прислонясь

к стенке. Никакая сила не разбудит его, пока он не выспится. Ясное дело — переоценил товарищ свои возможности: не дождался положенного времени, выпил досрочно, и расплата за этот непродуманный поступок настигла его по дороге на пир. Из кармана у спящего торчит бутылка; лицо счастливое — может быть, ему снится, что он встречает Новый год в приятной компании. И с другого конца вагона печально и осуждающе смотрит на него пожилая кондукторша...

Километрах в ста от Энска, направляясь к городу, идет по шоссе машина: сильный, блестящий, новенький «ЗИС». В нем молодой человек — один-одинешенек.

Шоссе пустынно, инспекторов не видеть; можно включить на полный и мчаться ветром... Но молодой человек не торопится. Выпятив губы, он равнодушно насвистывает песенку. Белое шоссе перед ним, на белом шоссе две широкие отчетливые колеи — там, где колеса машин протерли снег до самого асфальта. По этим гладким колеям легко идет машина. В свете фар открывается один участок пути за другим, один участок, как другой, белое пространство с двумя отчетливыми колеями. А кругом темнота, не видеть ни зги.

Перед молодым человеком автомобильные часы; он на них не смотрит. Не смотрит даже тогда, когда на розово-золотистом циферблате большая стрелка соприкасается с маленькой.

Это тот самый миг, когда из бутылок летят пробки и кремлевские куранты начинают вызванивать четверти.

...Бьют часы на Спасской башне.

С Новым годом, товарищи!

Глава первая

БЛУДНЫЙ СЫН

В этот вечер, часов в одиннадцать, к Дорофее заходил Саша Любимов.

Заходил он, собственно, не к ней лично, их встреча была случайной. Кто-нибудь другой мог открыть ему. Ее вообще могло не быть дома, до самого вечера она колебалась — остаться с девочками или ехать в Дом техники... Хорошо, что не Лариса отворила Саше. Ни к чему Ларисе эти напоминания.

В Доме техники будут все товарищи. Но и девочек не хотелось бросать в эту праздничную ночь. А тут еще пришла Юлька, прикрыла за собой дверь и сказала очень серьезно:

— Я хочу сказать тебе одну вещь, только ты обещай, что отнесешься правильно.

— Ну? — спросила Дорофея.

— Она мне ничего не говорила, это мои личные выводы, но мне кажется, у нее кто-то есть.

— Это так и должно быть, — сказала Дорофея.

— Я рада, мамочка, что ты понимаешь, — сказала Юлька. — И надо ей показать, что ты понимаешь. Она с тобой очень считается. Знаешь, она сделала маникюр и все время потихоньку поет... Только, пожалуйста, не надо никаких советов и никаких намеков, а просто показать, что ты относишься хорошо.

За дверью раздался голос Ларисы. Юлька замолчала и ушла. Дорофея вздохнула... Не поеду никуда, побуду с ними.

И, решив так, она по-хозяйски пошла по дому. К девочкам должны были прийти гости, молодежь; поужинают, а потом поедут на бал в Дом культуры. Ужин устраивали в складчину. Дорофея осмотрела припасы, ей показалось — мало; она дала денег и велела девочкам купить еще закусок и фруктов. Ей показалось, что в доме недостаточно чисто, и она сама перемыла листья фикусов и натерла стулья и шкафы маслом с уксусом.

К десяти начали сходитьсь девушки, подруги Ларисы и Юльки. Они накрыли большой стол нарядно, как на картинке, потом принялись украшать самих себя. Каждая принесла с собой парадные туфли, завернутые в газету, одной понадобился утюг — что-то пригладить, другой игла — что-то пришить. Дом наполнился девичьими голосами и беготней, от которой дрожали половицы.

В этом шуме чисто и звонко прозвенел звонок. «Кто разутый — прячься, кавалеры пришли!» — крикнула Дорофея и пошла открывать. В их домике устроено так: из передней попадаешь на застекленную веранду, идущую вдоль бокового фасада. На концах веранды по двери: одна во двор, другая, со звонком, на улицу, и эту вторую дверь отворила Дорофея.

Высокий молодой человек, а вернее сказать — мальчик лет семнадцати стоял на крыльце. Он не сделал движения войти, не поздоровался, даже не пошевелился, когда ему открыли. «Не гость», — подумала Дорофея. Его фигура, одежда, лицо, которое она различала в свете, падавшем с веранды, — все было ей незнакомо. Она спросила:

— Вам кого?

— Куприяновы здесь живут?

— Здесь. А вы к кому?

— Геннадий не приехал?

Ее кольнуло, она нахмурилась и ответила не сразу:

— Мне это неизвестно.

Они стояли, глядя друг на друга. Она поняла, кто это такой. Поняла и то, что пришел он сюда не по своей охо-

те — мать прислала. Все ей стало ясно, когда он спросил про Геннадия.

У него было безусое, правильное продолговатое лицо с крупными губами; глаза небольшие, серьезные; в их спокойном взгляде и в очертаниях губ была доброта. «Положительный мальчик, — подумалось Дорофее, — и с характером». Уши его меховой шапки по-ребячьи торчали в стороны. И куртка была ребячья, он вырос из нее.

А вдруг он не тот, за кого она его принимает? Не Саша Любимов? Вдруг это ее воображение? Говорят же домашние, что у нее вечно фантазии. Мало ли что: кто-нибудь из старых дружков вспомнил Геннадия и послал братишку его разыскать. Она сказала, проверяя:

— Геннадий тут не живет.

Паренек кивнул:

— Я знаю. Я думал, он, может быть, приехал.

Он медленно сошел с крыльца:

— Извините.

И зашагал прочь, засунув руки в карманы куртки. «Со всем молоденький, а дело мужское делает...» Как, должно быть, не хотел идти сюда, спрашивать...

Одет бедненько. Заработок, наверно, матери отдает.

Широкая окраинная улица была пуста и бела. Деревянные заборы, домики в два, в три окошка. Лампочки на воротах озаряют белые дощечки с номерами. Черная водопроводная труба на углу. Тихо. Окликнуть: «Саша!» — он бы услышал... Привести его в дом, посадить, расспросить попросту, по-бабьи: как тебе, Саша, живется, не обижает ли тебя Геня... Чувство стыда перед ним помешало Дорофее это сделать. Она закрыла дверь, вернулась в комнаты и только тогда почувствовала, как пробрало ее морозом, пока она стояла там...

И вдруг немила стала ей суматоха в доме, этот стол с бутылками, шумные девицы. «Кто, кто пришел?» — закричали девицы. «Никто!» — ответила она и прошла в спальню. Сидела на сундуке (стулья все унесли в столовую), подперев подбородок маленьким крепким кулаком. Стояло

в глазах серьезное детское лицо с добрыми губами... Вот, Геня, какое доверие к тебе: подозревают, что ты от них скрываешься. Успел, значит, и там себя зарекомендовать. Геня, всем от тебя мука, что же это такое...

Дорофее сорок восемь лет. Она среднего роста, худенькая. Смугла. Легко смеется, легко туманится. Походка девичья. Волосы темно-русые, подстриженные, на концах завиваются в кольца. Пробор сбоку, и одна прядь, с колечком на конце, заложена за маленькое ухо.

Ни седины у Дорофеи и мало морщин, и зубы чисты и блестящи, как в молодости. Увядание чуть-чуть только тронуло кожу у глаз, шеи, руки. Муж и дочь не замечают этих печальных знаков. Они говорят: «Мама у нас вечно-зеленая».

В газете раза два печатали ее портрет. На портретах она нехороша: скуластая, с напряженным лицом. Когда ее не станет, ни одна фотография не воскресит для близких ее облика, прелесть которого — в блеске глаз, в смене переживаний, в непрерывном движении жизни.

Она взяла себя в руки и села за стол с приветливым, довольным лицом. За каждым тостом отпивала немного вина, шутила с молодежью, и никто ничего не заметил. Одна Юлька, инструмент особо чувствительный, спросила потихоньку:

— Ты что, мама?

— А что такое?

— Расстроена.

— Вот уж ничего подобного. Выдумала. Налей мне того красного.

Ларисин избранник оказался так себе, ни рыба ни мясо — сразу не отгадать, что за человек. Другие наперебой разговаривали, хохотали, со смыслом и без смысла, как хохочет здоровая молодость, хлебнув вина; этот молчал, старательно протягивал рюмку, когда чокались, ел тоже старательно, но как бы не различая вкуса. Он был старше

всех мужчин за столом, ему, во всяком случае, перевалило за тридцать. «Староват для Ларисы, — думала Дорофея, — может, и женат, или платит алименты...» Росту он был маленького — Дорофея, сама небольшая, любила высоких; лицом некрасив, нос шишкой, лихорадка на припухшей губе. Только лоб, очень большой и бугристый, был хорош.

Лариса очень заботилась об этом гражданине и накладывала ему на тарелку громадные порции. Но Дорофея не заметила, чтобы они переглянулись как-нибудь по-особенному или тайком взялись за руки, как брались другие. «Ничего у них не будет, — подумала Дорофея. — Лариса нежная, ей нужна поэзия; без поэзии для нее нет чувства». Заметила она в нем такую повадку: когда кто-нибудь шутил, он поднимал брови, причем лоб покрывался длинными морщинами от виска до виска, и оглядывался на шутника без улыбки, с недоумением, будто не понимая, что тот сказал. «Он и смеяться не умеет, что ли?»

И вдруг он засмеялся, громко и резко, должно быть что-то найдя смешным, — Дорофея не слыхала, что именно. И сейчас же восторженно и счастливо рассмеялась Лариса и при этом порозовела вся. Значит, чувство есть все-таки?.. Он скоро перестал смеяться, а у Ларисы еще долго светилося лицо.

До чего разные характеры — Лариса и Юлька. Посмотрите, как Юлька, которой только восемнадцать исполнилось, держится с молодыми людьми. Один ей закуску подает, другой выбирает для нее яблоко получше, третий по ее приказу бежит в кухню выбросить окурки из пепельницы. Андрея она совсем загоняла. «Ешь, Андрюша!» — твердила Дорофея, но ему не до еды — Юлька приставила его к елке смотреть, чтобы от свечек не загорелось что-нибудь. Каждую минуту она его теребит: «Андрюша, ты не смотришь, поправь вон ту слева!» Она позволяет ему пошучивать над его подчиненным положением, но при этом делает такое лицо, словно говорит: «Глупые шутки, но так и быть, простим ему, ведь он еще очень молод!»

Лариса ничего этого не умеет и не сумеет никогда. Лариса не завоевательница: что само плывет ей в руки, то она и берет. Приплыл вот теперь этот Павел Петрович...

Тетка Евфалия сидела против Павла Петровича и рассматривала его без церемонии. Должно быть, он ей понравился: своей узловатой, темной рабочей рукой она протянула к нему рюмку и сказала:

— За ваше здоровье.

— Благодарю вас, — ответил он, взглянув на нее из-под собранного в складки лба; вежливо привстав, он чокнулся с теткой. Тут в первый раз мелькнуло в нем Дорофее что-то привлекательное: нет, он ничего.

А тем временем в комнате нарастал страшный шум. Начинали со степенного, хотя и веселого разговора, с чинных тостов и взаимных угощений. Дорофея не уловила, каким же образом получилось так, что нужно кричать во всю мочь, если хочешь, чтобы тебя услышали. И Дорофея кричала, спрашивая, кто еще хочет гуся, и тетка Евфалия кричала, и все кричали, кроме Павла Петровича. Как-то сразу стол покрылся поверх всего мандариновыми корками и конфетными бумажками, а в тарелке у Дорофеи оказалось вино и окуроч, хотя она не курила. Плотным роем, как мошкара, что-то поднялось в ярком кругу абажура и осело на плечи, головы и мандариновые корки: конфетти. Вдруг — дымный, пляшущий свет сбоку, шипенье, сильный запах еловой смолы и тоненький, отчаянный Юлькин крик: «Андрюша!» — загорелась елка. Андрей бросился как лев и залил пожар нарзаном. Все смеялись, но притихли. Юлька влезла на стул и задула свечи.

— Достаточно! — сказала она. — Вообще, нам пора уже идти. Посидим немножко тихо и попоем. Бандьера росса. Андрюша!

Андрей послушно запел. Они любили эту песню и выучили ее по-итальянски, и пели красиво и дружно, даже Павел Петрович подпевал: «Бандьера росса», — больше, видно, не знал слов. Потом спели «Болотных солдат»,

а потом перешли на свои родные: «Товарищ, товарищ, в труде и в бою» и «Мы никому не позволим». Тут и Дорофеея запела, эти песни были частью ее биографии, частью воздуха, которым она дышала, она не могла слышать их и не присоединиться.

У нее был небольшой голос, но хороший слух и точное чувство хорового ритма, — сколько за жизнь перепето песен в таких же случайно сложившихся хорах! — и пела она с блестящими глазами, ощущая смысл каждого слова и разгораясь от этого смысла. Юлька подошла к ней, обеими руками обняла за шею и поцеловала.

— Я тебя люблю! — сказала она.

Дорофее еще хотелось петь, но кто-то сказал: «А там танцуют!» — и все стали подниматься, громко двигая стульями.

Юлька сказала: «Ребята, это свинство — все бросать на маму и тетю. Надо убрать со стола». И они быстро и весело, толкаясь в маленькой столовой и мешая друг другу, унесли посуду в кухню, подмели пол и расставили стулья по местам. В суматохе одевания Дорофеея случайно подсмотрела коротенькую сцену: Лариса и Павел Петрович, оба уже в пальто, стояли друг против друга, и Лариса спрашивала упавшим голосом:

— Может быть, пойдете все-таки?

— Что я буду там делать? — спрашивал он.

— Танцевать, — сказала она нерешительно.

— Не умею.

— Я вас научу.

— Зачем?

Его глаза из-под наморщенного лба смотрели на Ларису с недоумением, почти с испугом.

Она отвернулась, натягивая перчатку, лицо у нее было жалкое. Их заслонили, Дорофеея не знала, чем кончился разговор. В это время принесли телеграмму от Леонида Никитича: «Пью твое здоровье». Дана со станции Шабуничи — маленькая станция, скорые не останавливаются. Дорофее представилось, как Леня с паровоза подает чело-

веку с фонарем бумажку и просит: «Отправь, друг, пожалуйста...»

Юлька и Андрей задержались, чтобы вымыть посуду. (Очередная Юлькина «тимуровская» выдумка.) Они мыли очень тихо; Дорофея, прибирая в комнатах, дважды заглянула в кухню — чтоб не затеяли что-нибудь предосудительное, как-никак выпили ребятишки. Но ничего предосудительного не было: Юлька, строгая, в старом синем школьном халатике поверх шелкового платица, мыла мочалкой блюдо; Андрей, без пиджака, повязанный передником тетки Евфалии, принял блюдо из Юлькиных рук, стал вытирать полотенцем. «Не разбей, пожалуйста!» — сухо бросила Юлька. В другой раз Андрей стоял уже в пиджаке, с приглаженной прической, и Юлька счищала пятно с его рукава... Потом и они ушли. Тетка Евфалия, расстегивая кофту, вышла из своей комнатухи и сквозь зевоту сказала:

— Воротник хороший.

— Какой воротник, у кого? — спросила Дорофея рассеянно.

— У Ларисиного, — невнятно ответила тетка. — Мерлушковый. — И, разжевавшись до немоты, ушла к себе. И Дорофея осталась одна.

Спать не хотелось. Напевая, прошла она по светлым, вдруг опустевшим комнаткам. Еще дрожало в ней что-то, поднятое песнями, вином, молодыми голосами. Сейчас бы веселиться: ведь только начали... Чудак этот Павел Петрович, ну что за человек такой, спрашивает: зачем танцевать...

Леня ведет товарный маршрут. Выпили с Квитченко по маленькой, закусили и едут... Грохоча, мелькают во мраке платформы, платформы, цистерны. В леса и перелески уходит бесконечная дорога, могучая машина ревет, эхо откликается в лесах...

Лариса и Юлька танцуют. Юлька — курносенькая, строгая и победоносная, от кавалеров нет отбоя. Лариса вся опущенная, смотрит, танцуя, в одну точку. Павел Пе-